

После того как я спустился вниз, сонливость немного рассеялась. Я решил не ложиться и воспользоваться случаем, чтобы перестроить режим под местное время. Порывшись в чемодане, я отыскал дневник А Лань. Память вновь сыграла со мной шутку: мне казалось, будто я читал его при свете свечей, но я-то знал, что в подвале, темном как ночь во время аварии на электростанции, не было никаких свечей — только скромная настольная лампа. Лишь много позже я понял, что в тот день как раз наступил Новый, 1996 год. Сразу после новогодних праздников начался зимний семестр девяносто шестого года — мой первый семестр в Мичиганском университете. В Мичиганском университете учебный год делился на четыре семестра: весенний, летний, осенний и зимний. Осенний семестр был первым в учебном году и длился с начала сентября до самого Рождества, а зимний начинался сразу после Нового года. На осень и зиму приходилось по четыре месяца — это было основное время для учебы, тогда как весна и лето длились всего по два месяца. Подавляющее большинство студентов брало весной лишь парадную горстку кредитов на галочку либо вовсе пропускало оба этих коротких семестра. Если посчитать, летние каникулы растягивались аж на четыре месяца. В первые дни занятий я, само собой, чувствовал себя несколько растерянным. Мичиганский университет был гораздо свободнее и проще Цинхуа: здесь не существовало понятия академической группы, порой даже курс обучения не выглядел четко очерченным. Перед началом семестра студенты по телефону или через компьютер, сверяясь с напечатанным факультетом расписанием, сами набирали себе предметы. Что именно учить и у какого профессора — всё определялось исключительно личными учебными планами и вкусами. Руководство кафедры практически не вмешивалось в выбор студентов, лишь предоставляя консультации, чтобы помочь таким заблудившимся новичкам, как я, составить расписание. И тут я мгновенно затосковал по Цинхуа — по нашей группе, где все ходили на одни и те же лекции, делали одинаковые домашние задания и сдавали те же экзамены. Прогуливать было неважно, домашку можно списать, а перед экзаменом достаточно спросить у одногруппников, на чем именно стоит сосредоточиться при повторении. Теперь же, без понятия группы, мне, казалось, не нужно было знать никого вокруг; всё целиком и полностью ложилось на мои плечи, словно в раннем детстве, когда отец запирал меня дома, оставляя одного копать в горе хлама в углу комнаты.

Но, в конце концов, это была Америка. Здесь я никого не знал, и никто не знал меня. Здесь не было ни старого Юаньминъюаня, ни храма Спящего Будды — даже если мне даровали свободу прогуливать занятия, куда я мог пойти? Я провел всё утро, с трудом подбирая слова и косноязычно консультируясь в учебной части. Ближе к обеду темноволосая зеленоглазая секретарша наконец потеряла терпение, решительно выписала мне длинный список рекомендуемых курсов и безапелляционным тоном заявила, что лучше всего прослушать их все. Зажав под одной мышкой отпечатанное на мимеографе расписание, а под другой — англо-китайский научно-технический словарь, я весь день до вечера скрупулезно изучал его в библиотеке. Изучение показало, что если я хочу вовремя выпускиться через два года, то следовать совету зеленоглазой никак нельзя: в том списке значились даже базовые «Высшая математика» и «Общая физика». Если бы я взял их все разом, то даже при перегрузке в каждом семестре и учебе все четыре семестра в год на получение диплома ушло бы больше трех лет. К тому же я не мог учиться четыре семестра в году. Помимо учебы, мне нужно было подрабатывать. Моей стипендии хватало ровно на два года обучения (и то без всяких сверхнормативных нагрузок), а расходы на жизнь — те сто пятьдесят долларов за аренду и прочие необходимые траты — я должен был зарабатывать сам. Я отбросил все сомнения, швырнул составленный зеленоглазой план в мусорную корзину и сам набросал новый, рассчитанный на получение диплома за два года. Первый же предмет в этом плане заставил меня почувствовать легкий мороз по коже — «Теория автоматического управления (повышенной сложности)». Даже в Цинхуа я никогда не брал «Теорию автоматического

управления для начинающих». Мои скудные познания об обратной связи ограничивались курсом «Аналоговая электроника» на первом курсе института, да и от того предмета в памяти осталось лишь сычуаньское произношение нашей маленькой женщины-преподавателя. Посетив первую лекцию по «Высшей теории управления», я занервничал еще сильнее. Аудитория оказалась просторной, человек на сто, но студентов пришло едва ли с два десятка. При такой малочисленности в столь огромном зале атмосфера царила довольно расслабленная. Какой-то белый парень, ростом, по моим прикидкам, метра два, явился на занятия в разгар зимы в шортах и нагло закинул ноги на стол. Его длинные бледные ноги издали походили на два облупленных ствола дерева. Он убрал их только тогда, когда в аудиторию вошел профессор, но всё равно полулежал в кресле, глядя в потолок так, будто пришел в планетарий любоваться звездами. Профессор, седоватый мужчина лет сорока-пятидесяти, выглядел куда строже любого китайского преподавателя. Акцент у него был не чисто американский, а с заметным немецким привкусом. Поднявшись на кафедру, он начал с того, что заявил: Мой предмет по праву считается одним из самых сложных на кафедре. Если кто-то из присутствующих здесь — студент бакалавриата, советую вам бросить его и выбрать что-нибудь другое. Эту фразу я худо-бедно расслышал, и сердце у меня забилося где-то в районе горла. Окинув взглядом жиденько заполнивших аудиторию студентов, я мгновенно решил, что каждый из них выглядит сущим аспирантом, отчего запаниковал еще сильнее. Однако худшее было впереди: вступительные слова профессора хоть и заставили меня тревожиться, но я их хотя бы понял. А вот на протяжении всей оставшейся лекции я не уловил в его речи ни единого слова. Зато те парни, что выглядели как аспиранты — особенно любитель звездного неба, — непрерывно задавали вопросы, причем тон их, пусть я и не понимал сути самих вопросов, звучал так, будто они ведут научную дискуссию с профессором на равных. После урока я снова потащился в библиотеку со словарем и расписанием и провел там в тяжелых раздумьях всю ночь. Но когда я наконец решился бросить этот кошмарный предмет и записаться на что-то другое, выяснилось, что все остальные доступные курсы уже забиты под завязку. Мне оставалось лишь стиснуть зубы и доучить этот предмет до конца. На вторую лекцию я принес портативный магнитофон. Уезжая за границу, я трезво оценивал свой английский, так что пришел подготовленным. Правда, раньше пользоваться этим магнитофоном мне почти не приходилось, потому что выставлять его напоказ на парте было как-то неловко. К тому же из тех аудиозаписей я никогда ничего не понимал до конца, да и прослушать их полностью не удавалось. Многие слова оставались темными, сколько их ни крути, а в словаре их отыскать было невозможно. И тем не менее, хоть учебе эти записи не помогали, они отлично справлялись с бессонницей, причем безотказно. Не знаю почему, но со времен поступления в Цинхуа я то и дело мучился бессонницей. Все парни в комнате уже вовсю храпели, а я лежал один, позволяя мыслям метаться во все стороны. Теперь же это снотворное в виде лекций приходило на помощь: стоило перед сном прижать магнитофон к уху и слушать медленную, с немецким акцентом, полупонятную английскую речь, как я мгновенно проваливался в сон. То ли записи и вправду обладали гипнотическим действием, то ли жизнь шла такая суматошная, что я валился с ног от усталости.

Моя жизнь и вправду становилась всё более суматошной: помимо учебы целыми днями приходилось пахать в кантонском ресторанчике под названием «Китайский дом», чтобы зарабатывать на жизнь. До университета можно было дойти пешком, но ресторан находился слишком далеко. Водить машину я не умел, автобусы ходили редко и стоили дорого. Пришлось за тридцать долларов выкупить у пожилого хозяина дома старый, выдавший виды велосипед. Велосипед был британского производства, марки я уже не помню. До того самого быстрого и легкого шанхайского «Пятого и девятого» производства марки «Навсегда», оставленного мной на родине, этой английской развалюхе было далеко. Дороги в этом городе не были приспособлены для велосипедов, поэтому я старался жаться к самому краю. Обгонявшие меня автомобили неизменно сбрасывали скорость, а некоторые даже демонстративно выезжали на

встречную полосу через сплошную желтую линию. К счастью, крутил педали здесь только я один, так что серьезных помех на дороге не создавалось. И все же путь в пятьдесят минут неизменно держал меня в страхе. Когда я добирался до «Китайского дома», лицо и конечности от холода уже теряли всякую чувствительность, зато сам я насквозь пропитывался потом. Моя студенческая виза категории F-1 не позволяла мне подрабатывать. Опасаясь облав иммиграционной службы, я неизменно притворялся племянником хозяйки. На работу мне разрешалось ходить в повседневной одежде, отчего я чувствовал себя партизаном в тылу врага. Мне вечно казалось, что форма официантов — белоснежная рубашка, черный галстук-бабочка, черный жилет и черные брюки — выглядит очень стильно. Наверное, потому, что мне страшно хотелось ее надеть, но было нельзя. То, чего из-за объективных причин невозможно заполучить, вечно обладает невероятным очарованием. Впрочем, у этой униформы имелась и вполне практическая ценность. Пока я не мог в нее облачиться, для меня были закрыты все пути от обычного разносчика еды (который убирает со столов, разносит блюда и чистит туалеты) до полноценного официанта (принимающего заказы, подающего еду, рассчитывающего клиентов и делящего чаевые). Разница в должностях была колоссальной: официанты за вечер могли срубить до двухсот долларов одних чаевых, тогда как мне перепадала лишь фиксированная ставка в шесть долларов в час. И потому каждый раз, убирая обедки и видя, как посетители с барским видом оставляют на столах купюры и одаривают меня снисходительными улыбками, я испытывал такую глубокую обиду, что ее невозможно было выразить словами. Хозяйка «Китайского дома» была родом из Гонконга. Я до сих пор понятия не имею, звали ее Лю, Ло или Лоу. Если судить исключительно по звуку, который я слышал, выходило, что она либо Лоу, либо Ло. А фамилию Лю я заподозрил лишь потому, что однажды слышал, как гонконгцы произносят имя Энди Лау через «о» — «старый лягух». Вообще-то я даже симпатизировал Энди Лау, хотя раньше не раз публично заявлял, как сильно презираю всех этих гонконгских кумиров во главе с ним. Наверное, его цвет кожи и черты лица напоминали мне Вэя. Но если рассуждать логически, я должен был ненавидеть Энди Лау, раз уж я ненавидел Вэя. Из чего следовало, что у меня не только не было принципов, но и понятия об истинных чувствах напрочь отсутствовали. Хозяйка звала меня А Дун, выговаривая эти два слога отчетливо и правильно. Я радовался, что меня зовут Ся Дун, а не Ся Хуа или как-нибудь еще — иначе она вполне могла бы окрестить меня «старой лягушкой» или «носком». Впрочем, прозвище А Дун мне даже нравилось. Наверное, потому, что это слово я схватывал на лету. В остальном мне везло куда меньше. В этом так называемом «Китайском доме» я и вовсе терялся. Не могу сказать, чтобы эти выходцы из Гонконга или Таошаня и впрямь изъяснялись на путунхуа или английском. Они пользовались ими постоянно, жонглируя на ходу, но неизменно натягивали всё это на кантонский лад и произношение. Наш языковой барьер то и дело приводил к глупым ошибкам. Мне велели отнести «гунбао цзи» (цыпленка по-гундюнски) на второй столик, а я тащил его на первый. Мне приказывали подать «кисло-сладкую свинину» на «намба-си» (номер четыре), а я ухитрился приволочь ее к шестому столу. Хозяйка бесновалась от ярости. Я лишился заработка за весь вечер — два⁴ доллара. Разумеется, виноват был я сам. Мне следовало с ходу понимать, какие звуки в этих похожих на кантонский диалект завываниях принадлежат кантонскому, какие — путунхуа, а какие — английскому. Раньше я презирал диалекты, теперь же почти возненавидел их. Впрочем, в их глазах, наверное, я сам выглядел чужаком, говорящим на каком-то странном наречии. В «Китайском доме» я оставался белой вороной. В моей жизни вновь внезапно не оказалось никого хоть капельку похожего на меня. Я словно вернулся в детство, когда целыми днями один-одинешенек шатался по дому. Разве что в углу больше не громоздилась гора старого хлама. Я молча ждал, пока кто-нибудь из своих снова объявится. И заранее знал, что тогда снова без всяких принципов приму любого, кто захочет меня приютить.

В день Праздника весны я получил письмо от отца. Изначально я даже не помнил, что сегодня

за праздник — об этом мне напомнила отцовская весточка. Вдобавок он сообщал, что в Пекине выпал снег. К письму была приложена фотография: отец с лучезарной улыбкой стоял на заснеженной лужайке в парке Тяньтань. Боже мой, его волосы поседел донельзя — они теперь казались точь-в-точь как тонкий слой снега под его ногами. Про Сяолян в письме не было ни слова. Но почему-то я вдруг почувствовал к ней странную благодарность. Я решил немедленно позвонить домой. Купленная в китайском магазинчике телефонная карта еще не распечатывалась. Однако вызов по номеру на карточке упорно не проходил. Наверное, из-за праздника линии связи с Китаем были перегружены. Меня охватила беспричинная тоска, и я зарыдал прямо с трубкой в руке. Наверху раздался странный шум: хозяин снова звал меня по имени. Пришлось торопливо утереть слезы. Старик был невероятно возбужден. Он принялся отчитывать меня за то, что я весь день занимал телефон и он не может связаться со своей сиделкой. Понятия не имею, кого еще он мог тревожить, кроме сиделки. И я понятия не имел, в какое время из семи дней недели, кроме этого злосчастного часа, когда телефоном пользовался я, он был лишен возможности до нее дозвониться. Впрочем, дать мне оправдаться он не пожелал, тут же сменив тему и потребовав сказать, когда же я наконец приготовлю ему «суши». Я с вызовом ответил: Я китаец! Я не делаю суши! Голос мой прозвучал излишне громко. Старик расстроено поник. Мне стало его жаль, и я тут же добавил, что могу сделать ему китайские пельмени. Он на мгновение задумался, глядя перед собой пустым взглядом, словно мысли его блуждали где-то в ином мире. Я напомнил, что теперь он может звонить сиделке. Старик словно очнулся от сна и побрел к аппарату, опираясь на трость. Волосы его стали еще белее отцовских, напоминая лежащий за окном белоснежный покров. Я поспешно повернулся за пуховиком. Пришло время отправляться в «Китайский дом». В тот вечер в ресторане яблоку негде было упасть. Я механически заваривал чай, подливал кипяток, разносил еду, убирал тарелки, протирал столы, менял скатерти и снова заваривал чай. Пот и кухонный чад сбили несколько прядей моих волос в сосульки, прилипшие ко лбу и щекам. Волосы уже отрасли ниже ушей — с тех пор как я приехал в Америке, я их еще не стриг. От меня разлило тяжелым запахом жареного масла. Если бы поблизости оказалась река или озеро, я бы с радостью сиганул туда прямо в одежде, чтобы смыть с себя этот липкий пот. В ту ночь официанты «Китайского дома» разделили по триста долларов чаевых. Хозяйка, к моему удивлению, сделала исключение и сунула мне целых пятьдесят. Уходя с работы, я тайком прихватил для старика-хозяина коробочку с жареными пельменями-готе. На крышке я вывел: Chinese Dumpling, Happy Chinese New Year! (Китайские пельмени, с Праздником весны!), планируя тихонько сунуть их в кухонный холодильник. Но когда я вернулся домой, старика дома не оказалось. Он не объявлялся всю ночь. Зато в эту ночь мне наконец удалось пробиться в Китай по межгороду. Голос отца звучал бодро. Он поинтересовался, как мое здоровье. Я ответил, что прекрасно. Спросил о его самочувствии — он заверил, что тоже в полном порядке. Я справился о его сердце. Отец наперебой заклинал меня, что ему намного лучше и мне незачем беспокоиться. Я принялся уверять его, что в Америке всё чудесно: жизнь комфортная, учиться и работать легко. Я старался придавать голосу как можно более непринужденный тон и тараторил без остановки, не давая отцу возможности привязаться к какому-нибудь детальному вопросу. Я болтал очень долго, а потом тут же забыл, о чем именно шла речь. Отец рассказал, что Вэй по-прежнему частенько заглядывает к ним, помогает закупать пекинскую капусту и менять газовые баллоны. С трогательной гордостью он обронил, что никак не ожидал от меня такой заботы: уезжая, я поручил его преклонные годы заботам Вэя. У меня перехватило дыхание; казалось, всё внутри — от носоглотки до каждого бронха — сошло в тугой спазм. Отец снова спросил, как мое здоровье — память, похоже, тоже начала его подводить. Я снова отрапортовал: прекрасно. Недолгая пауза. Собравшись с духом, я попросил отца передать привет Сяолян. Было слышно, что, вешая трубку, отец остался очень доволен. На следующий день позвонила сиделка старика и сообщила, что он слег в больницу и пролежит там еще очень долго. На четвертый день объявился некто, назвавшийся сыном старика. Он потребовал, чтобы я подыскал себе другое жилье. Спустя неделю я съехал. В

придачу к двум огромным баулам, привезенным из Китая, у меня теперь имелся английский велосипед. Ключи от входной двери я спрятал под коврик на крыльце. На коврике красовалась надпись Hello! и огромная улыбающаяся рожица — удивительно, как это я раньше ее не замечал. Пару недель спустя, случайно проходя мимо того дома, я увидел прибитую к крыльцу табличку Продается. Похоже, старик с той самой ночи домой так и не вернулся.

Я переезжал в одиночку. Мое новое жилье снова оказалось подвалом, почти ничем не отличавшимся от прежнего, только над головой у меня теперь жила старая еврейка. Впрочем, кто был хозяином, не имело особого значения. Я уходил затемно и возвращался поздно, так что шансов столкнуться с этими рано ложающимися спать стариками почти не оставалось. Снова тревожить ребят из студенческого союза мне было совестно. Я ведь никогда не звал их на ужин, да и они никогда не приглашали меня ни на какие мероприятия. Наверное, потому, что они все были аспирантами, а меня, должно быть, автоматически записали в категорию тех студентов бакалавриата, что прибывали с Тайваня и из Гонконга. В день переезда я позаимствовал тележку для покупок у ближайшего супермаркета и за два захода перетащил оба чемодана на новое место. В третий заход забрал велосипед. От старого жилья до нового можно было дойти пешком, но три ходки туда и обратно отняли у меня весь световой день. Шел я медленно: со времен начальной школы бегом на длинные дистанции я не занимался, так что выносливость оставляла желать лучшего. И потому вечером в «Китайском доме» я двигался заметно заторможенно. Впрочем, клиентов от этого меньше не стало — не было и семи, а у входа уже выстроилась очередь из желающих занять столики. Я торопливо подливал гостям воду, бегом носясь из зала на кухню. В тот вечер коврик у кухонной двери казался особенно скользким от жира. Я еще подумал, что кто-нибудь обязательно на нем навернется. Так и вышло. Вот только навернулся я сам. Я досадливо поморщился: ведь обратил же внимание на этот злосчастный коврик и предвидел беду, но, к сожалению, не удержал эту мысль в голове. Падая, я со всего маху налетел ребрами на край пластикового бака, а тарелка с серебристыми блинчиками из пресного теста разлетелась по всей кухне. О блинчиках я уже не думал. Свернувшись калачиком на полу, я задышался от пронзительной боли, со слезами и соплями на глазах. Хозяйка в тот вечер проявила невиданное милосердие: орать не стала, а вместо этого распорядилась отправить меня в больницу. Парня, который меня вез, звали А Вэнь. Когда я стонал на пассажирском сиденье его машины, на нем всё еще была белоснежная рубашка, черный жилет и черные брюки. Видимо, я выглядел при смерти, раз уж А Вэнь даже не успел переодеться, лишь на ходу схватил с вешалки черную кожаную куртку и бросил ее на заднее сиденье. В ту ночь шел сильный снег. Машина А Вэня плелась со скоростью черепахи. К тому моменту, как мы добрались до больницы, резкая боль в ребрах немного притупилась, хотя я по-прежнему не мог ни согнуться, ни поднять руку. А Вэнь вел машину с крайним сосредоточением, его лоб покрыла испарина. Печка в салоне работала на полную мощность, и постепенно мне стало уютнее. От его белоснежной рубашки едва уловимо пахло кухней. И хотя этот запах я терпеть не мог, сама форма по-прежнему казалась мне невероятно стильной. Мне было совестно отвлекать А Вэня, но ведь он вез меня. Пришлось нарушить молчание. Мне нужно было попросить его отвезти меня обратно домой. В больницу мне было нельзя: моя страховка была самой паршивой из всех возможных, и одно посещение отделения неотложной помощи пустило бы меня по миру. Я сомневался, стоит ли говорить на путунхуа или по-английски. За те несколько месяцев работы в «Китайском доме» мы, как выяснилось, еще ни разу не разговаривали друг с другом. Тонкие черные очки на его переносице и прилипшая ко лбу прядь мокрых от пота черных волос придала мне решимости, и я заговорил на путунхуа: Я, кажется, в порядке, в больницу ехать не нужно. Спасибо. Ты уверен? — он бросил на меня вопросительный взгляд. В его тоне звучала искренняя забота. Голос оказался низким и мягким. Я никак не ожидал, что он говорит на чистейшем тайваньском путунхуа. Это меня тронуло. Я снова повторил, что в больницу не поеду, и, улыбнувшись, назвал свой адрес. Он

послушно развернул машину в сторону моего дома. Воздух в салоне казался почти осязаемым. Чтобы прервать тягостное молчание, я поблагодарил его за помощь и извинился за то, что отнял столько времени. Он застенчиво улыбнулся, и на его щеках проступили легкие ямочки, придавшие ему совершенно мальчишеский вид. Я спросил, почему у него такой безупречный путунхуа. Он ответил, что родился в Гонконге, а вырос на Тайване. Я даже немного позавидовал тому, как свободно он владеет и путунхуа, и кантонским. А где вырос ты? — спросил он. В Пекине, — ответил я.

<http://bllate.org/book/21154/2144364>